



Дмитрий ДАРИН

ПЕЛЬМЕНИ

Рассказы

ЗАВЕЩАНИЕ

У деда Силантия были красивые имя и борода. Ну, имя — понятно. А борода была под стать — важная, можно сказать степенная. Не метлой, не лопатой, и уж не очесок какой.

Как белая волна — стекала с лица и впадала прямо в пояс. Торжественная борода. Правда, больше ничего красивого у деда Силантия не было. Пятистенка крепкая еще, не кренилась, но было уже в ней что-то уходящее. То ли обшарпанное крыльцо, то ли дух от старых циновок, то ли бревна, кое-где насквозь потрескавшиеся. Внутри было чисто и пусто. Печь, у окна с облупленной белой рамой — стол, полуистертая клеенка на столе... что еще... пара табуреток. Тахта в дальнем углу. Каждую ночь, когда дед Силантий ложился почивать, тахта вместе со скрипом выдавала пыль. Столько пыли, что сложно не закашляться. Тогда кровать скрипела еще больше, словно жалуюсь хозяину на бессрочную службу. Неуютно было в избе, но дед Силантий этого уже давно не замечал. Кормился рыбой с речки, картошкой с огорода, тушенкой, что раньше привозил сын, а потом, когда сын скоропостижно умер от саркомы, редкими консервами из сельпо. Внук Андрей не привозил ничего. Хотя нет, привез новые поплавки да лесу в позапрошлом годе, а из продуктов чего-то не догадался. Андрей работал в городе — не райцентре, а в самой Москве, в какой-то важной организации. Он говорил, да Силантий не запомнил. К этим мудреным названиям ухо у него было не приспособлено. Андрей приезжал с девушкой, сказал: невеста. Женился он или нет, Силантий не знал — на свадьбу его не звали, и письмом тоже известий не было. Может, женился, ну а, мож, и нет

** Редакция журнала «Сура» поздравляет Дмитрия Дарина с 50-летием, желает здоровья и творческих успехов.*

— у этих молодых да современных все как-то непрочно. Вот у них — Силантия и Меланья — было прочней железа. Еще бы — раз железо их и связало. Дед Силантий был тогда не дедом, а лейтенантом. И лежал раненый в госпитальной палатке, практически на передовой. А Меланья перевязку делала — бойко так, умело, и старалась боли лишней не причинять. Ему тогда подо Гдовом осколком полплеча разворотило. Хирург вынул все, что смог. Меланья перевязывала уже, как мессеры налетели. Им хоть красный крест, хоть какой — бомбят в удовольствие. Палатку снесло к чертям, кровати поопрокидывало. И вот сидит Меланья на его кровати в чистом поле под бомбами, молится, а он, полуперевязанный, здоровой рукой Меланьину ладошку сжал, глаза закрыл и тоже «Отче наш» вспоминает. Хирург мимо пробегает, орет благим матом — не молиться, бежать надо со всех ног! Тут ему голову и снесло. Начисто. Как доброй кошой ромашку. А они так остались на кровати — он лежа, она сидя.

Хотя в земле и крови — и лицо, и халат, значит. А все одно — оба белые, белее сметаны. И ведь даже не задело, испугом отделались. А когда мессера ушли, он уже ладошку Меланьину не выпустил. Загадал: живы останутся — женится на ней. Она тогда еще на него глазами брызнула, но ничего супротив не сказала и руку не отняла. Потом только, когда свадьбу играли, призналась: то же самое загадала да у Господа молила, чтоб не разлучал. И если погибнуть, так вместе, тут же. Может, под этот загад и оставил их Всевышний на земле. «Силантий-да-Меланья» у соседей в присловье вошло, как «Иванда-Марья», настолько дружно жили, душа в душу, как ладонь в ладонь. Силантий раньше плотничал, да так плотничал — глазам на радость, заказчику — в удовольствие. Работал когда с инструментом — руки пели. Часто людям и за спасибо не отказывал, когда заказов не густо было. Не все, правда, красоту понимали. Колян — сосед наискосок — завсегда бычился, когда Силантий ему предлагал то кровлю на доме подлатать, то водосток банный починить, то забор поправить.

— Не лезь! Моё! Захочу — сам почию. А не захочу — нехай валится.

Силантий фыркал.

— Так ведь некрасиво, мил человек! Глянь — ендову повело совсем, следующую зиму не переживет, крепить надо.

— Тебе-то чего? — настаивал сосед. — Моё! Некрасивое, а моё! Своё тревожь, моё не трожь!

— В некрасивом доме и жисть некрасивая!

— А ты мою жисть не трогай! Не тебе дадена!

Силантий пожимал плечами и отступался. Соседскую крышу действительно на Богоявление завалило. Колян пыхал молчаливой злобой, поднимал стропила, сделал кое-как и тут же запил. Потом Силантий слышал — чуть ли не его винил Колян в этом, говорил: заломил Силантий цену небесную, а не по-божески. Так и прожил Колян до самой смерти с переломанной баней да кривым, словно запойным, забором. С Силантием и Меланьей не здоровался

и бабе своей, Антонине, заказал. А как помер через пару лет от пьянства, так Силантий, у вдовы не спрашивая, все наладил.

— Как строишь, так и живешь! — сказал напоследок. От платы, как и до того говорил, отказался.

Меланья, правда, дармовой работы не одобряла. Пилить не пилила, но мужу выговаривала:

— Ты не понимаешь, что ли? Не ценят люди. А то еще — и обижаются.

— За что же людям на мою работу обижаться? — недоумевал Силантий.

— Отплатить им нечем, в долгу себя чувствуют. Обязаны будто. Ну а коли совесть есть, то беспокойно им как-то в должниках слыть-то.

Силантий оглаживал свою бороду, но понять женины резоны никак не мог. Совесть, по его разумению, не для этого была предназначена. Но долго они все равно не спорили, кто-то да переводил на другое. Чаще Меланья — и чаще всего на свою работу. Точнее сказать, на свою зарплату. Платили ей как почтальонше меньше трех тысяч. Надбавки какие-то полагались, но их так никто и не видел, а потом и вовсе отменили. Так и померла — прямо там, на почте. Кто-то из очереди наорал, посылки своей не дождавшись. Будто Меланья за всю российский почту в ответе. Охнула только, прижала охапку писем к сердцу, да так и осела — с чужими письмами в руках. Ни одного не выронила. Врачи сказали: острая сердечная недостаточность. Силантий на кладбище тогда подумал: у человека, который своей злобой другого умеет убить, вот у кого сердечная недостаточность. А земля таких носит.

Последние десять лет ходил Силантий на женину могилку каждый Божий день. Следил, ухаживал. За домом своим уже не так следил, как раньше, душу не вкладывал. Душа с Меланьей ушла. Порядок, как мог, держал, не давал покривиться ни дому, ни себе. Но все же без Меланьи это был уже не дом, а так... жилище. Земля, конечно, всех пережует. А пока — жить нужно. Но чтобы понять — как, — и приходил на могилку Силантий. Сидел, молча вздыхал в свою роскошную бороду. А как что приятное из жизни совсем не вспоминалось, улыбался — тоже в бороду, тишком. А в ведро почуял, что скоро и ему за Меланьей. Потому решил дед Силантий написать завещание.

Встал в тот день обычно — с зарей, но ни на реку, ни на погост не пошел, даже на двор не выглянул. Долго искал подходящую бумагу, не нашел, вырвал лист из старой Меланьиной тетрадки. Той, куда покойница записывала все расходы, покупки нужные да сбережения с пенсии. Не успела закончить тетрадь Меланья, кончились ее земные расходы раньше. Вот такой листочек в линейку и вырвал дед Силантий — последний баланс сводить. Послюнявил карандаш, потом все-таки пошарил в ящичке стола — достал авторучку. Завещание — документ серьезный, стираться не должен. Вывел, сопя над листом: «Моя последняя воля», вырвал лист, написал по-другому: «Завещание гражданина Клименко Силантия Архиповича» — и задумался. Долго так сидел дед Силантий, с ручкой в старых коряжистых пальцах, глядя в пустой лист. Не над тем думал,

что отписать по духовной, а над тем — кому. Вернее, кому — было ясно: внук был один. Не просто один внук, а из всей родни — один. Невестку Силантий не жаловал, особенно с тех пор, когда эта столичная мамзель на Меланьины поминки не приехала. Сын-то в Москву через нее попал. И столичную прописку по женитьбе получил. Старики были раз у них — когда внук Андрюша родился. Меланья много чего напекла, меду взяла, всяких гостинцев по узелку. А эта, московская-то, с расфуфыренным именем Эльвира, бросила все в холодильник, не глядя. Потом еще Силантий в Москве был — уже у Андрея. Еще до той девахи, с которой он их в деревне навещал. Нужно было Силантию одну бумагу выхлопотать — для всего села. Знали все, что у него внучок при начальстве, вот и снарядили — что-то по пашням, между двумя районами ничейная земля образовалась. Отдать в надежные руки, ответа дожидаться и привезти. Бумагу-то отвез Силантий, а вот ответа не дождался, конечно. Но и Андрей упреждал: нет никакого смысла в Москве сидеть, ответ вам в район и так официально придет. Силантий тоже так думал, но для порядку решил неделю «посидеть». Внук, конечно, не обрадовался, но квартира у него из двух комнат была, бабы на тот момент рядом не наблюдались, так что стерпелись.

Походил Силантий по Москве, поездил. Огромный город, ничего не скажешь. Дома под облака, а вот люди мелковаты. То ли в сравнении, то ли еще как... не по росту, конечно, а по сердцу. Точнее Силантий и сам бы не мог точно определить. Но что-то такое было в здешних людях... примесь какая-то. К примеру, стояли они в пробке на окружной дороге. МКАД, если коротко назвать. Андрей, который был за рулем, чертыхался направо и налево, на него тоже огрызались. Ну, это понятно. Хотя они и не спешили особо, нервы все ж не железные. Потом с левого ряда их «скорая» подвинула. С сигналами да фарами. Больного, верно, везли или, наоборот, за больным ехали. И все бы ничего, да Андрей и еще несколько таких же ловких «скорую» пропустили — и за ней на большой скорости, как за ледоколом по чистой воде. Силантию стало неловко. Выходило, что они чьей-то бедой пользуются. Поделился с внуком. Андрей только усмехнулся. Силантию показалось — не без превосходства.

— Ты чего, дедуль? Это ж Москва. Тут хлебалом щелкать нельзя. Либо ты, либо тебя. Мы вреда никому не делаем, закон не нарушаем. Так что расслабься.

«Либо тебя... прям, как на войне», — подумал Силантий, но вслух возражать не стал. Но и «расслабляться» не хотелось. Закон законом, но на фронте таких пронырливых не любили. А внук добавил еще:

— Еще ведь неизвестно, кого везут — больного или блатного. Сейчас они за деньги мимо пробок народ возят, который побогаче. Как такси, только с гирляндами. А если и к больному, так ему такой счет выпишут — мне сосед жалился как-то, — что еще подумаешь: может, сразу помереть легче было бы. Сосед грит: приезжает докторша — этакая цаца, красивая, надушенная, напомаженная, халатиком своим беленьким шелестит, прям как невеста фатой.

Силантий поерзал на сиденье. Вспомнил Меланью в халате тогда, под налетом. На фронте «цац» не было, а были санитарки, медсестры, сестрички. Их солдаты любили по-братски, берегли, за «цацу» могли запросто каску в мозги вмять — где-нибудь в дальнем окопе.

Или вот еще — тоже на дороге. Ехали по какому-то проспекту или улице, но очень широкой. Женщина — пожилая, почти старуха, — не по подземному переходу пошла, а по верху, прямо между машинами. По глупости, конечно, по бабской. И чего ее понесло? Упала в аккурат на середине, так машин десять объехали ее, пока какой-то паренек не остановился, вышел да помог на ноги встать. А Андрей на того паренька обозлился. Из-за таких козлов, говорит, все пробки в Москве и случаются. Даже посигналил, чтобы, значит, быстрее старухе помогал. Силантий огладил бороду и подумал, что его Андрей тоже бы объехал, не задумываясь.

Про телевизор вообще говорить нечего. Внук научил, какие на пульте кнопки, какие стрелки жать, какие не трогать. И программ куча — по новому назвать: каналов. У него-то всего три было, центральные, в основном новости и включал Силантий. А когда погас телевизор — ламповый еще, во время этой клятой перестройки, так и не стал чинить. Не то что тратиться не хотел, а такие новости жить мешали. Старой радиоточки вполне хватало ему, чтобы понимать, что на белом свете творится. А сейчас смотрел Силантий в московской квартире эти новомодные каналы и ничего не понимал. Нет, о чем шла речь, было, в общем, ясно. Непонятно только, отчего смеются и чему хлопают. Кто пел — так голосов нет, одно кривлянье, а женское — так почти голое. И чем меньше на такой фифе одежды, тем меньше она умела петь, а восторгов, наоборот, больше. Шутили так же из телевизора — не смешно как-то. Но вместо аплодисментов хохот — будто ему подсказывают, в каком месте смеяться нужно. Вот разговоры разные, споры — интереснее уже показалось. Как будто в деревне на сходе — так же все кричат и слушают того, кто перекричит всех. И так же бабы кудахчут, и чем громче, тем глупее. Как вернулся к себе, так ничего и не вспомнил, что показывали — как внук выражался — по «ящику». А внук и ржал, и причмокивал на этих голых безголосых, а как новости пускали — ругал высшую власть смачными словами. Хотя вроде с этой самой власти и питался.

Но, как бы там ни было, родни боле у деда Силантия не числилось. Чтобы наследство отписать, значит. Так и просидел до темноты дед Силантий над листком в клеточку, думал, корпел. Кроме избы, еще что-то нужно было внуку передать. Совет не совет — кто стариковские советы сейчас слушать будет? Но чувствовал: одной избы мало. Дед Силантий зажег лампу. Потом выключил. Может, в темноте лучше бы ему думалось. Но в темноте вспоминать хорошо, а не думать. Потому снова включил Силантий лампу, придвинул к тетрадке поближе, чтобы глаза, значит, не устали раньше времени, и проверил который раз ручку.

...По лампе и почуяла соседка неладное. Никогда дед Силантий днем свет жечь не стал бы. Бригада из района приехала не быстро, но к вечеру все же добралась. Оформили все, как полагается, удостоверили, выписали справку. Антонина заверила, что тут похоронит, поэтому не повезли. Участковый тоже не замаялся — все было просто и даже обычно. Лишь когда извлек из-под беле-сой бороды листок бумаги, поскреб затылок. Но, повертев в руках, никуда под-шивать не стал, только головой покачал. Действительно, кто ж такое завещает: «Добрых людей вокруг тебя, внучек, и сердца, чтобы добро хранить, а еще...». Тоже мне «последняя воля». Участковый усмехнулся на «добрых людей», огля-нулся, куда бы деть, и, не найдя лучшего места, бросил листок в печку.

ПЕЛЬМЕНИ

— Я тебе обратно говорю: тут никто не присядет! Ненавидят все друг дружку, как псы! Хуже — как собаки!

Говоривший это мужик, вернее говоря, мужичок, был щуплого вида, в те-логрейке, несмотря на теплую еще погоду. Для убедительности он размахивал правой рукой с защемленным в ней картузом, что издалека могло напомнить выступление Ленина на митинге какого-то завода. В данном случае митинг со-стоял из двоих — «Ленина» и второго мужика, помясистой и побряжестей.

— Петро, чего разоряешься, тютя?

— А вот такой народ. Дикий народ. Родня не родня, а часу не пройдет, как перегрызутся! И чего это мне зазря скамейку тут ставить?

Тот, кто побряжестей был и поспокойней, слов тратил меньше:

— А присядет кто? Она и тень, тютя!

Петро — хозяин дома и осины, облокотившейся на жидкий забор, — замо-тал головой и рубанул картузом:

— Не буду я ничего ставить. Кто присядет-то? Ты — и так ко мне зайдешь, а кто чужой — мимо пройдет. И неча задерживаться. Чего задерживаться тут? А бабы сядут — начнут языки чесать, как белье полоскать. Мне же первому кости промоют: Петро там выпил, с той прошелся, с тем погавкался. Еще мою Варьку вовлекут, не... И так бабский язык как репей, так ты что хошь — чтоб я этот ре-пей под своей калиткой развел?

Кряжистый пожал плечами.

— От тютя. Так на радость же. Кто с сельпо идет с пакетами — присядет, доброе слово к тебе скажет.

Петро громко усмехнулся: мол, ему ли людей не знать.

— Доброе слово ныне только за деньги скажут. А задарма — только Капка рыжая, и обратно бабам же. Давеча отпускала — так очередь с улицы выстро-илась. Не могла с какой-то товаркой набрехаться. И потом — чего такого в на-шем чапке можно набрать, чтобы передыхать? Крупы или спичек? А чтоб водка руки оттягивала — ты когда такой праздник видал? Даже пельмени — и то кон-чились давеча. Варьке своей обещал, да не принес. Я Капке: вылаживай, мол,

из закров, шо осталось. А эта рыжая су... щность только руками разводит: грит, только яйца остались. Я обратно: вылаживай яйца! А она мне: я тебе то же самое хотела предложить. И бабы гогочут вокруг, чисто гуси!

Спокойный кивнул: язык продавщицы их сельпо Капитолины цветистостью не уступал вулканически-огненным волосам.

— А с церкви кто пойдет? Вот с Пасхи пойдет, да и присядет здесь. Церква тоже по дороге небось.

Петро постучал себе картузом по лбу:

— После Пасхи разговляться надобно, а не по скамейкам рассиживаться. Чужим тем более. И до Пасхи — знашь, вона зима еще. И кто на твоей скамейке будет зимой ж...пу холонить, а, Рябой?

Если приглядеться, то, действительно, на широком лице второго можно было заметить старые, почти зажившие вмятинки, словно от маленьких дробин-нок. Видимо, прозвище заменило имя в незапамятные времена. Рябой пожал налитыми плечами.

— Ну, как хошь. Я чё? Я зайду, если чё.

— Заходи, заходи, завсегда. Вот, кстати, что сейчас зашел. Дело есть.

— Дело? Какое дело, тютя?

— А вот важное! — Петро потряс картузом перед своим носом. — У тебя, к примеру, пельмени дома есть?

Рябой пожал плечами:

— Нема.

— Вот! И у меня нема. Даже у Капы в чапке теперь нема. А мужики позавчера в Лихой балке за старой фермой во-о-от такого русака видели, — Петро развел руками, как делают обычно рыбаки, а не охотники.

— И шо?

— Не постигашь, Рябой? Мы этого русака с тобой завтра самотопом возьмем, пока кто-то другой не позарился, так пельменей и наготовим. До Новогодья хватит, если мужики не врут. А если и привирают малехо, так до зимнего Николы. Так шо — тесто за тобой.

Рябой хмыкнул:

— А как не возьмем, тютя?

— Как это — не возьмем? Ишь, малOVER... Ишо как возьмем. Лёжка у него там. Как не взять? Тепленького. С зайчихой, — Петро озорно подмигнул. — Снимем с бабы евойной, так он в полоумии все свои петли да сметки позабудет. Или тебе чего — тесто лень делать?

Рябой, еще заметно сомневаясь, пробурчал, что, мол, не лень, но мука последняя.

— Ну, тем более, — окончательно рубанул картузом Петро, — на дело пойдет, чего зря последнему лежать. Ты вот шо — ты сегодня сделай, завтра с рассветом и наладимся. С собой возьми, там прямо на ферме и скатаем.

— А варить, тютя? Тоже там?

Петро надел картуз, показывая, что недалекие вопросы собеседника его утомили и митинг окончен.

— Ну а то как же? Пока найдем, пока сгоним, пока шкуру снимем... Что ж нам — голодными целый день шастать? Там сварим, там и съедим часть. Ключ там недалеко, хвороста завались. Половину зайца-то легче нести, небось? Постигаешь уже?

Рябой улыбнулся — дескать, постиг.

— А шо останется — Капке отдадим. На продажу. Такая что хошь продаст. А нам — магарыч. Умей жить, Рябой! — для верности усмехнулся: — Не тютей.

Бутылка, венчавшая всю операцию, убедила Рябого окончательно.

— Ладно, тютя. Я завтра до петухов постучусь.

На том разошлись. А на следующее утро, еще затемно, Рябой подходил к Петровой хате. В правой руке он нес ведро с тестом — оттягивавшее руку даже такому ражему детине, каким был Рябой. Окинув взглядом место у забора, где шел давешний спор о скамейке и куда сейчас удобно было бы поставить ведро, Рябой взялся за калитку. Но заходить не пришлось. Петро словно ждал за штакетником: вышел бодро, перекидывая с плеча на плечо старомодную «Белочку»¹ — единственную фамильную реликвию. На свежем воздухе сразу стал ощутим перегар — видимо, Петро решил перед охотой погреться изнутри. Как Варвара, обычно зоркая на партизанскую рюмку, не углядела, было не ясно. Рябой укоризненно покачал головой, но ничего не сказал. Петро, не замечая этих тонкостей, накинул на калитку проволочную петлю и пошел первым.

На жухлой траве уже посверкивал первый иней — будто зима прислала вперед себя некий задаток. Шли поэтому с похрустом, но нужды осторожничать не было — до Лихой балки раньше рассвета не добрались бы, а случайная добыча друзей не интересовала. Вообще, Петро слыл знатным охотником — брал и зайца, и лису, и кабана и без зверя с охоты почти не возвращался. Была у него когда-то и собака — красавица лайка по кличке Берта. Берта поднимала за сезон до семидесяти зайцев — на зависть любой гончей. Петро ходил с ней и на лису, и на куницу, и на кабана и не мог нарадоваться. С ней часами мог разговаривать, гладил так, как жену не гладил. Варвара то ли в шутку, то ли всерьез даже ревновала мужа к ней. Но на восьмом году собачьей жизни — в самую зрелость — Берта была кем-то отравлена. Из зависти или из ревности — Петро допытываться не стал, ушел в запой. На всякий случай побил жену, хотя та божилась и клялась детьми, что ни при чем. Из запоя вышел через неделю, неожиданно и даже резко. Сходил в баню, парился всю ночь, потом спал до вечера и больше в этом году к бутылке не притрагивался. Новую собаку заводить не стал — боялся, если повторится подобное, запоем не ограничится. Знал наверняка: кого-нибудь пристрелит. Тюрьмы Петро не боялся. Боялся, пристрелит не того, кого надо, не разобравшись. Потом, когда отпустило, стал

¹ Двустольное пуле-дробовое ружье ИЖ-56 «Белочка» Ижевского механического завода. Выпускалось с 1956 г. до середины 60-х годов прошлого века.

понемногу выпивать, но не взахлеб, а исключительно по душевному желанию. Жена Варя такие желания чувяла задолго и, как могла, предотвращала. В целом жизнь получалась малопьющая. По русской мере, конечно.

Рябой, в отличие от своего спутника, был убежденным холостяком. С женой Петро Варей он был связан дальним родством, и родство это было у него единственным. Родители умерли еще молодыми. Отца заразили в районной больнице, когда он единственный раз в жизни обратился к врачам. Поехал лечить зубы, а вернулся с неизлечимым гепатитом. Через него заразилась и мать. Когда выяснилось, в чем дело, было уже поздно. Рябой был тогда еще не рябым, а подростком по имени Проша. Братьев и сестер у него не было. Варя помогала вместо старшей сестры, как-то выдюжили. Петро ездил потом в ту больницу, искал зубоправа. Но к тому моменту докторша из больницы уже уволилась, главврач сменился, спрашивать было не с кого. И ведь надо же — проклята та лечебница была, что ли, но вернулся оттуда Прохор тоже с «подарочком» — ветряной оспой, ветрянкой, проще говоря. От нее и оспинки на лице остались, оттуда и кличка привязалась. С тех пор Рябой никаким докторам не верил, считал за врагов и, может, от того и не болел вовсе. Не болел, но здоровье на других не тратил, на баб тем более. Смотрел, как в деревне мужиков хомутали да ездили, — так не хотел. Для хозяйства баба нужна, понятное дело, но пока сам управлялся. Может, оттого никогда не выходил из равновесия и дружелюбия к соседям не терял.

Перехватив ведро с тестом другой рукой, Рябой собрался спросить, далеко ли ещё. Хотя и сам еще мальчишкой на ту старую ферму бегал, но для облегчения ноши другого, как спросить, не оставалось. Прохор протерпел еще метров двести.

— Петро, долго еще топать? Замотался нести, тютя!

Петро даже не обернулся — поднял руку с растопыренными пальцами. Что это означало — пять минут, пять часов или пять километров — было непонятно. Прохор решил про себя, что, если через пять минут они не придут на место, он потребует привала. Но требовать ничего не пришлось — через несколько шагов Петро остановился сам.

— Так, Рябой. Ща курнем и начнем поднимать нашего русака. Он, подлец, в затишье лежит, за фермой где-нибудь, мордой к ветру. Так что ты возьмешь правее по склону, против ветра будешь заходить. Малик² увидишь, не смотри, все равно запутает, просто окружай со своей стороны. Поднимешь на меня, я его и достану. Постиг?

— Ну а чё. Понятно, тютя. Только ведро тут оставлю?

— Не, Рябой. — Петро достал «Приму». — Заяц далеко увести может. Потом ищи твое ведро. Так что с собой тащи.

² Заячий след (охотн.). При ветре заяц ложится обязательно где-нибудь в затишье, мордой к ветру (ветер, дуящий по шерсти, не так холодит зверька). Поскольку же заяц лежит мордой к ветру, подходить к нему следует сзади, против ветра, чтобы зверек не заметил охотника.

Проход, не скрывая удовольствия, втянул сизый дымок. Небо незаметно посветлело и стало как раз такого же цвета — сизым. Петро зачем-то снял крышку, потопал пальцем по тесту и неопределенно крякнул. Нужно было понимать, что претензий к тесту нет. Первая сигаретка самая короткая, скоро мужики втоптали окурки в примерзшую землю, Петро снял с плеча легендарную «Белочку», Проход зацепил ведро и пошел по верху балки в указанную сторону. И ведь прав оказался Петро: не успела показаться заброшенная ферма, как шагах в ста от Прохода что-то в траве шорхнуло, и помчался вперед крупный — не обманули те мужики — заяц размером с лисицу, не меньше. Матерый русак, русачище! Проход хотел крикнуть, да в горле что-то запершило. Размахивая ведром, как огромным кадиллом, он бросился за зайцем, и тут же громыхнул выстрел. Проход остановился, чтоб не попасть ненароком под огонь, и тут же ухнуло снова. Русак прыгнул в сторону и почесал в высокую траву за логом. Когда с низу балки показался Петро, на ходу перезаряжая ружье, Проход окончательно понял, что заяц ушел. Ушел, так и не перейдя в следующее положенное ему агрегатное состояние — пельмени. Петро не стал ничего говорить, развел руками и достал «Приму». Проход тоже не стал ничего говорить — как следует раскрутив ведро с тестом, отчего стал похож на олимпийского метателя молота, забросил его далеко в заиндедевшую траву.

— Ты чего, Рябой?

Проход молча повернулся и пошел крупным шагом обратно в село. Петро курил и вслед не смотрел. Рябой потом не заворачивал в сторону Петровой хаты больше недели. А когда все-таки зашел по соседскому делу, то первое, что бросилось в глаза, — небольшая крепкая скамейка, срубленная из дубового комля. Проход сбросил рукавицей тонкий снег, присел, осмотрелся и улыбнулся во все рябое лицо:

— Другое дело... тютя!